мастера искусств о себе

Никто и никогда не может рассказать историю душевной жизни талантливого человека так, как он сам. Возможно, современники или исследователи будущего увидят картину более широкую, создадут научные труды или романы-биографии, но и тогда слово художника о себе самом, его понимание своих истоков и пути останется особенно ценным.

Людмила Георгиевна Зыкина написала автобиографическую книгу, которую назвала «Песня». Сюжет ее — судьба девочки, ставшей знаменитой певицей, — ожидаем многомиллионным советским зрителем и читателем. Книгу Людмилы Зыкиной готовит к выходу в свет издательство «Советская Россия». Сегодня «Литературная Россия» знакомит своих читателей с первой главой «Песни».

НАЧАЛО

Людмила ЗЫКИНА

Я УЖЕ проснулась, сон отлетел, но глаз не открываю: мне кажется, что так, с закрытыми глазами, лучше слушать бабушкин голос и, главное, вдыхать запах вкуснейшего пирога — курника, который готовят на кухне...

Мне уже шесть лет, и сегодня, в воскресный день, непременно дадут какое-нибудь важное поручение — например, помогать накрывать стол.

— Вставай, Милуша! — нараспев говорит папина мама, Василиса Дмитриевна. Только она называет меня так, а я зову ее по-деревенски: «Васюта, бабаня Васюта».

Иду на кухню — здесь просторно, чисто, как в деревенской избе, — и получаю свой кусок пирога. Верчусь у бабушки под ногами; сегодня семейный обед, и в комнате нашей станет тесно: придут родственники — тетки мои с мужьями, с детьми.

Березы подступают к дому, в диком клевере жужжат, не смолкают пчелы. Мы живем на самом краю Черемушек (теперь мест этих не узнать; я недавно завернула в родные места, ничего знакомого — ни дома, ни тропки — не нашла).

Неподалеку — запруда. Сто пятьдесят шагов — бегом, с подскоком, на одной ножке — и я оказываюсь на берегу полузаросшего пруда — то ли старого карьера, то ли пересохшего озерца. Оглядываюсь — вокруг ни души.

Стягиваю через голову стиранное-перестиранное платьице и осторожно, медленно погружаюсь в остывшую за ночь воду.

А солнышко косыми утренними лучами уже освещает хрупкую воду.

Пора возвращаться: дома ждет праздник, бабушкин пирог, а главное — бабушкины песни...

...Бабушка моя, Василиса Дмитриевна, была родом из-под Скопина, из деревни Лопатино. Это неподалеку от есенинских мест, на границе «Московщины», как там говорят, и «Рязанщины». Много лет все собиралась я съездить туда, к истоку, на родину бабушки, да все не выходило; наконец поехала. Никого из знавших бабушку в деревне уже не осталось.

А была она — песельница.

Пела бабушка, как сама любила говорить, «нутром»; песня буквально клокотала внутри, хотя бабушка (голос у нее был, помню, небольшой) почти никогда не повышала голоса.

Пела она удивительно, и была песня для нее отрадой, отдушиной в трудной, порой нерадостной жизни.

Когда умер дед и гроб его поставили на стол в центре комнаты, бабушка не плакала — она запела вдруг высоко, скорбно и протяжно. Я дернула ее за сарафан: «Как тебе не стыдно, бабаня?!» Ничего она мне не ответила.

Потом уже, когда вернулись все с кладбища, помыли, как заведено, руки, сели помянуть деда, сказала она мне: «Песня, Милуша, лечит всякую тоску-печаль...»

Она и говорила-то тихо, неторопливо, но все ее уважали, слушали, боялись; заключалось в ее речи что-то весьма и весьма основательное, значительное...

Были у бабушки «в запасе», в неисчерпаемой певческой ее кладовой замечательные подголоски.

...Пока подходит тесто, бабушка, высокая, статная, в опрятном сарафане, легко, неслышно ступает по половицам, точно «летает», и напевает, напевает, поет не умолкая:

— «Соловей кукушку уговаривал...»

Мне очень нравится, как она поет, я уже все песни ее выучила наизусть и сама тайком пробую петь. Но больше всего нравится, как после каждой строчки она по-особому прищелкивает языком и тихонько так голосит — р-р-р-р-р!.. Я бы тоже хотела прищелкивать, но у меня ничего не выходит.

Была в бабушке особая «великатность» — лесковское это словцо соединяет в себе «величие», «великолепие» и «деликатность».

Когда перебрались из деревни в Москву, оказалось, что жить нам негде: поселились все в одной тесной комнатенке.

Бабушка огляделась, улыбнулась:

— Ничего, землянку вырыем...

И вправду — подхватилась, взяла лопату; потом мы помогли ей и за сутки соорудили настоящий подземный дом: всю зиму там прожили — и тепло было, и сухо, и чисто...

Уже мы жили в Москве — вдруг неожиданно бабка объявила:

— Выхожу замуж!

Сыскала себе женихаровесника, обвенчалась. Переехала от нас на Дорогомиловскую заставу, потом в деревню, в Алабужево... Я, как выдавался свободный часок, денек, — непременно к ней; помочь по хозяйству, прибрать, сходить вместе с ней за грибами, за травами.

Не могла она жить без леса. Знала вокруг каждый кустик, каждую тропку, каждое грибное или ягодное место.

...Так и стоит перед глазами воскресное то утро в небогатом нашем дому. Хлопнула дверь — мама пришла с дежурства. Не передохнула, пошла помогать свекрови...

Маму мою звали Екатерина Васильевна. Работала она нянечкой-санитаркой в больнице. За отца моего, Георгия — Егора по-деревенски, девятого бабушкиного сына, вышла замуж поздно, «по-городскому». Когда я родилась, маме уже было двадцать семь лет.

...Сегодня воскресенье. Мама веселая, торопится: скоро гости пожалуют. А я все пристаю к ней, не отхожу — пусть наденет любимую мою розовую кофточку: она у мамы — единственная.

Являются вместе с отцом родственники и садятся за стол. Я сижу смирно, жду конца застолья: ведь самое интересное не сейчас — потом, когда начнут петь.

А они все не начинают, все говорят про свое, взрослое, неинтересное...

Вот скромный пир наш окончен. Пора же им запеть — я от нетерпения места себе не нахожу. Бабушка наклоняется к маме, что-то шепчет ей на ухо. Та улыбается, что-то негромко говорит отцу, и все смотрят на меня. Ну, что же они томят, не начинают, в самом-то деле?..

— А ну-ка, Милуш, давай запевай! Как я тебя учила!..

Бабушка говорит мягко, ободряюще, но в то же время настойчиво.

Я даже не поняла вначале, чего от меня хотят. Как это — запевать?

Выпрямилась, напряглась. Голос у меня слабенький, тоненький, хрупкий, но я отчаянная; мама говорит: сидит в тебе какой-то чертенок, покоя не дает.

— Легко, легко запевай, — это уже мама просит, — не бойся!

Я начинаю все ту же, бабушкину и мамину, любимую:

— Соловей кукушку...

Допела, чуть не убежала из-за стола от страха. Кругом захлопали, а бабушка перекрестила — благословила меня: «Ну, вот и смена...»

Первое мое «соло», первые мои аплодисменты...

Потом запели взрослые — согласно и стройно, тетя Паша начала «Вот вспыхнуло утро».

Какие же были у моих родственников удивительные голоса! Потом и в хоре Пятницкого, и на радио, и просто в деревнях встречала я сотни певиц и певцов, и записей переслушала несколько тысяч, наверное. Но таких голосов, как в доме нашем, таких подголосков не слышала больше!.. Теперь, спустя много-много лет, могу «разложить по полочкам»: у бабушки был высокий альт, у отца — бас, у тети Паши — скорее всего меццо. А вот у мамы — голос совершенно своеобразного тембра, высокий, с колоратурным взлетом.

Так уж получается, что вспоминаю я о доме нашем, о бабушке, о маме, о детстве — и вновь возвращаюсь в сегодня. И вот почему: некоторые мои рецензенты пишут, что еще в детстве обнаруживала я «стремление к сцене» и даже «предощущение своего призвания».

А все было не так.

Не сцена, не концертная эстрада манили меня тогда. Как и тысячи сверстниц моих, бредила я именами Чкалова, Молокова, Ляпидевского, Леваневского, Каманина и, конечно, именами героинь-летчиц — Расковой, Гризодубовой, Осипенко.

Мечтала стать летчицей, поступить в аэроклуб, водить самолет или хотя бы планер. Как-то в школе — еще до войны — получила билет на новогоднюю елку в Центральный парк культуры и отдыха. Пришла — и сразу позабыла и аттракционы, и игры, и самого Деда Мороза; увидела парашютную вышку. Маленьких туда не пускали; но я подтянулась, встала на цыпочки, и меня пропустили. Прицепила парашютик и вдруг в самый последний момент чуть не струсила: показалось, что разобьюсь. Но бояться некогда было: зря, что ли, я с таким трудом проникла на осоавиахимовскую вышку?.. Зажмурилась — и открыла глаза уже на земле.

Прыгала я с вышки и с аэростата раз пять; последний — уже в войну.

Была я рослая, спортивная девчонка, носила значок ГТО первой ступени — помните, еще на цепочках. Играла и в волейбол, и в футбол, и даже в хоккей. Летом с велосипеда не слезала.

Ни в чем не хотела уступать мальчишкам; обожала — честное слово! — копаться в моторах; после войны даже на мотоцикле трофейном носилась по Черемушкам. И каждый самолет провожала взглядом...

Через много лет выпало мне счастье дружить с летчиками и нынешними наследниками чкаловской славы — космонавтами Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой, Павлом Поповичем, Виталием Севастьяновым, Алексеем Леоновым, Владиславом Волковым. Они сегодня для меня воплощение той несбывшейся, далекой юношеской мечты — сесть за штурвал самолета, высоко-высоко взлететь над землей...

А пела я всегда, везде, сколько себя помню. Первое мое выступление, если не ошибаюсь, было еще в школе, в третьем классе. В Доме пионеров ставили спектакль — «костюмный», из старой, чуть ли не купеческой жизни. По ходу спектакля звучал романс, но исполнительница заболела. Кто-то вспомнил: «Зыкина поет». Разыскали меня, уговорили. Так я спела — и не что-нибудь, а «Белой акации грозди душистые».

Матери некогда со мной было заниматься — жили мы трудно; мама очень уставала. Учила она меня не песням — шитью; я и сейчас науки этой не забыла. А за шитьем тихонько напевала.

Песню эту, возможно, многие слышали с телеэкрана; я спела ее режиссеру Марлену Хуциеву, а он вставил в свой фильм «Был месяц май». Песня про вышивальщицу и моряка.

На берегу сидит красотка,
У ней шелк белый-голубой.
Моряк подплыл на быстрой лодке...

Отец работал до войны на заводе; все любили и уважали его.

Он тоже любил музыку и песню. Не знаю уж, как и откуда появилось у него такое богатство, только, видя, как я тянусь к музыке, к пению, он купил — в рассрочку — балалайку, банджо, какие-то дудочки, свирели...

Я выучилась играть (никто меня не учил) и на гармошке — русскую, цыганочку, страдания, все, что ни попроси, — и на струнных... Труднее всего осваивала почему-то гитару — но одолела, выучила вальс и даже... болеро... С гитарой не расстаюсь и по сей день — люблю и русский, и цыганский лад; мечтаю даже в новой программе романсов спеть под гитару на сцене...

Но в одном мне, наверное, повезло — главный врач больницы, где работала мама (фамилия его, кажется, была Каганов), очень любил искусство, музыку, песню.

Самодеятельность больничного клуба была в Москве заметна: и танцоры славились, и чтецы, и певцы. Потом я наших девочек-танцовщиц встречала и в «Березке», и в ансамбле Игоря Моисеева. А преподавала хореографию в клубе бывшая солистка Большого театра. «Гремели» и певицы наши — Нина Гаврина, Надя Чистова. И теперь вспоминаю я голос Надин, необычайный по тембру, с уникальными низкими обертонами.

Я стала ходить в клуб — не петь, а танцевать, даже в драмкружке участвовала. Первой обратила на меня внимание наша соседка Антонина Ивановна Кормилицына. И я очень хочу, чтобы она прочла эти строки.

Антонина Ивановна была полная, высокая, особенной легкой стати. Ездила на велосипеде — это и сейчас, поди, редкость для взрослой женщины, а тогда и вовсе было в диковинку. Садилась на свой велосипед удивительно женственно, грациозно и амазонкой неслась по нашим черемушкинским проулкам.

Она любила петь — и не только песни, а помню, разучивала с кем-то даже дуэт Лизы и Полины из «Пиковой дамы».

Почему-то очень верила в меня, в мой голосок и говорила, бывало:

— Есть у тебя огонек, который не у всех зажигается...

Первая она учила меня самым что ни на есть элементарным вещам — как ходить (не на сцене, в жизни), не размахивать руками, не сутулиться, не горбиться.